

Чужое тело, чужая карма и её боль.



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Вит Кранц

Чужое тело, чужая карма и её боль

«Автор»

2026

Кранц В.

Чужое тело, чужая карма и её боль / В. Кранц — «Автор», 2026

Она жила своей жизнью. Но с ней сыграли злую шутку. Её душу помести в тело женщины, что виновна в убийстве, и она должна сознаться в том, что не делала, и после этого её должны казнить. Она не станет признаваться, она будет сжимать губы, но на эшафот она не отправится.

© Кранц В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролг	5
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Вит Кранц

Чужое тело, чужая карма и её боль

Пролг

В королевстве Эрэлис, где испокон веков царствовали эльфы, стояла ночь — одна из тех ночей, что кажутся написанными чьей-то умелой рукой. Тишина лежала на улицах подобно тонкому серебряному покрову, и казалось, будто сам воздух боится шелохнуться. На небе висел полумесяц — острый, изогнутый, словно клинок, забытый кем-то из богов. Его холодный свет лился на безлюдные мостовые, скользил по черепичным крышам, по витражам, по сонным садам, в которых дремали белые цветы, раскрывавшие лепестки только в темноте.

Этот же свет падал и на дворец — гордость королевства, белокаменное чудо, что возвышалось над городом подобно застывшей волне. Снаружи он казался спящим. Но внутри, в его сердце, в эту ночь было всё что угодно, только не тишина.

В тронный зал шли они.

Шли мерно, тяжело, словно сама судьба ступала за ними по пятам. Рыцари-маги в тёмных плащах, под которыми поблёскивала чешуйчатая броня, шли плотным строем. А впереди — он. Принц-дракон. Высокий, широкоплечий, с тёмными волосами, схваченными у висков серебряными кольцами. В его глазах горел тот особенный огонь, что бывает у тех, кто пришёл не просить — требовать.

Тронный зал встретил их во всём своём холодном великолепии. Здесь всё кричало о власти и древности. Золотая лепнина вилась по потолку причудливыми узорами, изображая то охоту, то цветение, то битвы давно забытых королей. Белый мрамор пола блестел так, что в нём отражались сапоги вошедших. Дикие выюнки — живые, тёмно-зелёные, с мелкими сиреневыми бутонами — обвивали высокие колонны, словно сама природа склонила голову перед хозяйкой этого места. Множество зеркал в позолоченных рамах украшали стены, и в каждом отражалась своя картина, своя сцена, словно зал смотрел на гостей десятками глаз.

Трон возвышался в дальнем конце зала. К нему вела лестница из толстого, закалённого стекла, в глубинах которого мерцали золотые руны — старые, древние, шевелящиеся, словно живые. Сейчас, ночью, в тронном зале было светло как днём: волшебные лампы под потолком ровно лили золотистый свет, и были они невольными свидетелями того, что происходило — и того, чему ещё предстояло произойти.

И посреди этой роскоши, на троне, сидела она.

По-настоящему, до боли в груди, идеально красивая женщина. Эльфийка. Гибкая, стройная, словно отлитая из лунного света. Пепельно-золотые волосы тяжёлой волной струились по её плечам, спадая до самого пояса, и в каждом локоне будто пряталась маленькая искра. Её глаза — неестественно, болезненно золотые — смотрели на мир так, будто этот мир ей слегка надоел. Тело её казалось выточенным из дорогого камня умелым мастером: худая, с небольшой высокой грудью, узкими бёдрами, тонкими запястьями, хрупкими ключицами, что выступали под кожей подобно росчеркам пера. Она была идеально красива и идеально холодна.

Серебристое платье облегалo её фигуру как вторая кожа — текло по телу, повторяя каждый изгиб, и казалось, будто платье соткано не из ткани, а из тумана и инея. Точёное лицо. Холодная бледная кожа, в которой не было ни кровинки. И этот её взгляд — взгляд того, кто давно не считает живых живыми. Её аккуратные, изящно заострённые эльфийские ушки даже не дрогнули, когда тяжёлые двери распахнулись и в зал вошли непрошенные гости.

Перед ней, у самого подножия трона, на холодном мраморе сидело несколько мужчин. Людей. Все — в тонких серебряных ошейниках, с цепочками, тянувшимися куда-то вглубь, к подножию трона. На их телах виднелись синяки — лиловые, жёлтые, свежие и едва зажившие. Следы плетей пересекали их плечи и спины красными лентами. Но самое страшное было не это. Самое страшное было в их глазах. В них не было ни злобы, ни жажды свободы, ни мысли о побеге. В них была покорность. Та самая, что страшнее любой боли. Они смотрели на неё так, словно видели богиню. Красивую, идеальную, жестокую — и единственную, ради которой стоило дышать.

Казалось, они готовы были простить ей всё. За одну её улыбку. За одно её небрежное слово. За самую возможность быть с ней в одном зале и дышать одним воздухом.

Она холодно скользнула по ним взглядом, как скользят по знакомой и слегка наскучившей мебели. А потом так же лениво, без единого лишнего движения, приподняла голову, глядя на вошедших. В её жестах не было ни тревоги, ни любопытства. Только спокойствие — то самое, ледяное, что бывает только у тех, кто привык повелевать. Тонкая рука с длинными ногтями плавно поднялась и поправила волосы, обнажив золотые серьги в её ушах — тяжёлые, древние, с мелкими изумрудами в оправе.

— Что в моём дворце забыл принц? — голос её был ровным, негромким, но в нём звенело такое высокомерие, что воздух, казалось, становился плотнее. В её жестах была грация королевы — той, которая привыкла подчинять, и той, которой подчиняются.

— А ты не догадываешься, Каллерия? — он сделал шаг вперёд, и пламя в его зрачках вспыхнуло ярче. — Ты заигралась. Задушить принца в постели — это преступление.

Он был зол. По-настоящему зол. И хотел убить её собственными руками — медленно, чтобы успеть увидеть, как с её точёного лица сходит это вечное выражение скуки.

— Я не знаю, о чём ты, Нир. Я ничего не делала.

Она говорила холодно, дышала ровно, и любой посторонний поверил бы ей с первого слова. Любой — но не он. Он слишком хорошо знал эту женщину. Знал, что она способна на всё. Знал её страсть — придушивать в постели, играя, смакуя чужой страх. И у него не было ни малейшего сомнения, что в одной из таких «игр» она умудрилась придушить его брата так, что тот уже не смог проснуться.

— После ночи с тобой нашли его тело, — выплюнул он. Грубо. Жёстко. Непреклонно.

— Где доказательства?

Она чуть наклонила голову набок, и в её глазах мелькнуло что-то похожее на снисходительный интерес — так смотрят на ребёнка, который пытается спорить со взрослым.

— Мой дорогой, ты обвиняешь королеву. Для этого нужны либо доказательства, либо признание. Ни первого, ни второго у тебя нет.

Она была горда. Грациозна. Тонкие пальцы обхватили ножку хрустального бокала, и она отпила эльфийского вина — медленно, со вкусом — так, словно её обвиняли не в убийстве, а в том, что она не туда выкинула фантик. В этом была вся Калерия. Гордая. Не признающая своих ошибок. Не знающая ни жалости, ни раскаяния, ни сомнения. Ей было всё равно, что ей говорят. Она жила в своём собственном мире, где только её слово имело вес, а чужие слова были лишь фоновым шумом — назойливым, как жужжание мухи, и таким же бессмысленным. И даже если бы они привели сейчас сотню свидетелей и положили перед ней окровавленный платок — она не признала бы своей вины. Никогда.

— След твоей магии — уже доказательство, — голос Нира стал тише, но от этого только страшнее. — Сейчас. Здесь. Тебя берут под стражу. И я сделаю всё, чтобы ты призналась в содеянном. Всё — слышишь? Чего бы это ни стоило. За убийство тебе положена казнь. И ты будешь казнена — как только я лично вытащу из тебя это признание. Даже если ты сделала это ненамеренно, даже если ты просто ушла и оставила его умирать — это убийство королевской крови. И этого никто не спустит с рук. Никто.

Маги за его спиной шевельнулись. В их ладонях один за другим вспыхнули огни — тёплые, оранжевые, готовые в одно мгновение превратиться в пламя. Воздух в зале сгустился, и волшебные лампы под потолком чуть притухли, словно сами почувствовали приближение бури. Они были готовы к её сопротивлению. Готовы ко всему.

— Ну попробуй.

Она улыбнулась. Впервые за весь разговор. И эта улыбка была холоднее любого её взгляда.

— У меня всегда есть сутки на решение своих дел, и ты это знаешь. Приходи завтра. Признания не будет. Ты не можешь заставить меня пойти с тобой прямо сейчас — и ты прекрасно это знаешь. Политика играет на моей стороне. В отличие от тебя.

Она холодно повела рукой в воздухе — едва заметным жестом, что значил для её людей больше любого приказа. Рабы у её ног поднялись бесшумно, как тени, и потянулись прочь, не смея поднять глаз. Маги, скрипя зубами, гасили огни в своих ладонях — один за другим, медленно, словно каждый из них хоронил в этот миг частичку своей гордости.

— Завтра. В полночь. — Голос Нира прорезал тишину, как клинок прорезает шёлк. — Ты отправишься в темницу под замком короля эльфов. И никто. Слышишь? Никто не сможет ничего сделать. Тебя никто не защитит. Никто не оправдает. Тебя казнят, Калерия. Казнят на моей земле. На моей площади. Там, где твоё высокомерие никому не будет нужно.

Он развернулся резко, тяжело, и его плащ хлестнул по воздуху, словно крыло. Маги двинулись за ним. Двери тронного зала закрылись с глухим, тяжёлым стуком — и этот звук показался ей предвестником чего-то неотвратимого.

Земли драконов.

— Ты виновен в попытке отравить короля драконов. И ты будешь ждать приговора здесь — в этой темнице. В этой камере. Скоро к тебе добавится компания — принцесса Каллерия, что заигралась и убила младшего принца драконов. Будет вам с ней о чём поговорить перед смертью.

Тяжёлая решётчатая дверь со скрежетом захлопнулась. Звук замка, провернувшегося в ржавом нутре, прозвучал как приговор.

Красивого эльфа втокнули в сырую камеру с такой силой, что он не удержался на ногах. Белые волосы, спадавшие до пояса, больше не блестели — на них запеклась кровь, тёмными ниточками сбегавшая от виска к скуле. Идеальные руки — те самые, которыми он когда-то держал перо и натягивал тетиву — были изуродованы недавней дракой: сбитые костяшки, полуманные ногти, ссадины на тонких пальцах. Синие глаза смотрели в полумрак камеры со злостью — глухой, тяжёлой, такой, какая копится только у тех, кто не привык к несправедливости и потому не умеет с ней мириться. Он сжал чуть пухлые губы в тонкую линию и до боли впился обломками ногтей в собственные ладони — так, словно эта боль была единственным, что удерживало его от крика.

Когда шаги стражников стихли в коридоре, он наконец позволил себе обмякнуть. Без сил свалился на старый матрас, набитый трухой и тем, что когда-то было соломой. Матрас пах сыростью, плесенью и чужим страхом — тем особенным запахом, который въедается в ткань после многих лет в подземельях.

В его глазах не было ни вины, ни боли. В них была жажда крови.

— Кто бы ни засунул мою душу в это тело, — выдохнул он сквозь зубы, — вы за это ответите. Каждый. До последнего.

Голос его был хриплым, чужим — голос тела, в которое его поместили, не его собственный. И от этого становилось ещё противнее.

— Я прямой потомок драконьей крови. И я отсюда выберусь. А если на то пошло — заберу корону. Заберу всё, что мне причитается по праву. Я Дариус. Меня нельзя сломать болью. И меня нельзя заставить сдаться.

Он выдохнул — медленно, с болью, ощущая, как от каждого вдоха ноют трещины в рёбрах. Кто-то из стражников приложился к нему сапогом особенно старательно. Он сжал кулаки так, что ногти снова впились в кожу.

С ним сыграли злую шутку. По-настоящему злую.

Он отказался от короны ещё десять лет назад. Тогда, помнится, был жаркий летний день, и он стоял перед отцом и братом в тронном зале и говорил твёрдо, не глядя в пол: «Я не хочу править. Я хочу жить». И жил. Жил, как требовала душа — путешествовал, учился, влюблялся, дрался на дуэлях из-за глупостей, помогал тем, кто просил, и тем, кто просить уже не мог. А

теперь — очнулся в теле преступника, в чужой шкуре, с чужими рёбрами и чужой кровью на чужих волосах. Его душу подменили, поменяли местами с какой-то мразью, и он был категорически не согласен с таким положением дел.

Его нутро выло от несправедливости. Он, живший по совести, добрый по самой своей сути, не желавший власти даже на расстоянии вытянутой руки, — он, который по праву крови имел даже больше прав на корону, чем его старший брат, — лежал теперь на гнилом матрасе в каземате, в теле какого-то убийцы, и ждал казни за чужие грехи.

И сейчас, когда он находился в чужом теле и страдал от боли в драке, которую он же сам и затеял — потому что не желал идти в казематы драконов добровольно, как покорная овца на заклание, — в его глазах плескалась ненависть. Густая, тяжёлая, как смола. Он ненавидел колдунов. Всех. До единого. Тех самых, что играли с чужими душами, как дети играют с тряпичными куклами — выдирая руки, меняя головы, не задумываясь о том, что внутри куклы кто-то живой.

Кто-то откопал старый трактат. Он знал это так точно, как знал собственное имя. Кто-то из этих чернокнижников добрался до запретного — до тех самых манускриптов, что десять лет назад были, как ему казалось, сожжены до последнего листа. Он сам присутствовал на том костре. Сам видел, как пергаментные страницы скручивались в огне, чернели, осыпались серым пеплом. Сам ворошил угли потом — не один раз, по несколько дней подряд, пока не уверился: ничего не осталось.

Но сейчас, глядя в каменный, тёмный, покрытый паутиной потолок камеры, он понимал — где-то, у кого-то, в какой-то старой библиотеке, в чьём-то тайнике под половицей, в схроне под алтарём заброшенного храма — уцелел один манускрипт. Один. Этого хватило. Этого всегда хватает. Один уцелевший лист — и вот уже его душа сидит в чужом теле, а тело преступника, скорее всего, гуляет где-то в его собственной шкуре, делая что-то такое, за что ему, Дариусу, потом будет очень стыдно.

Он прикрыл глаза. Дышал медленно — вдох, выдох, считая удары собственного — чужого — сердца. Боль постепенно становилась тупой, привычной, и в этом ровном ритме он принялся думать.

«Десять лет, — повторял он про себя. — Десять лет покоя. Кому я успел перейти дорогу за десять лет?»

Ответ напрашивался сам собой — никому. И всем сразу. Тот, кто не правит, не имеет врагов лично — но имеет врагов по праву рождения. Кто-то решил, что прямой потомок драконьей крови, отказавшийся от трона, — это слишком удобная фигура, чтобы оставлять её в живых. Или, наоборот, — слишком удобная, чтобы оставлять её свободной.

Дариус медленно открыл глаза. В уголках губ дрогнуло что-то — не улыбка, нет. Что-то другое. То, что бывает у людей, которым уже нечего терять и которые наконец-то поняли — куда идти дальше.

«Ладно, — подумал он. — Пусть будет так. Раз вы сами меня сюда положили — значит, я нужен вам именно здесь. Значит, я и буду здесь. До поры до времени.»

Он прислушался. Где-то в глубине коридора капала вода — тяжёлыми, размеренными каплями, отсчитывая время с точностью лучших водяных часов. Где-то дальше, за поворотом, тяжело дышал во сне другой узник. Ещё дальше — звякало железо: меняли караул. Жизнь в подземелье шла своим чередом, не зная и не желая знать, что в камере номер такой-то лежит сейчас тот, кто десять лет назад мог стать королём драконов, — и обдумывает, как из этой камеры выйти.

«А ведь сюда обещали привести её, — вдруг вспомнилось ему. — Каллерию. Эту эльфийскую змею.»

Он усмехнулся — впервые за всю эту длинную, чёрную ночь. Усмешка вышла кривой и злой, потому что губы чужого тела не привыкли так усмехаться — они привыкли скалиться, а это другое.

«Что ж. Будет с кем разделить камеру. Говорят, она красива. Говорят, она холодна. Говорят, она убивает мужчин в постели. — Он прикрыл глаза. — Посмотрим, голубушка, какая ты красивая, когда тебе подпалят пятки.»

И в этой мысли — злой, мстительной, совершенно не свойственной тому Дариуса, который десять лет назад отказался от короны ради того, чтобы жить по совести, — он сам себя не узнал. И понял в этот же миг страшное: чужое тело меняет душу. Медленно, исподволь. Чужие рёбра, чужая кровь, чужие желания, что просыпаются в чужих мышцах, — всё это просачивается внутрь, как сырость просачивается сквозь старую кладку.

«Надо торопиться, — подумал он, и эта мысль была уже его. — Чем дольше я в этом теле, тем меньше от меня остаётся».

Он перевернулся на бок, насколько позволяли ноющие рёбра, подтянул колени к груди — и заставил себя уснуть. Силы понадобятся. Все, какие есть.

Дворец эльфов. Кабинет королевы.

А в это самое время — в нескольких сотнях лиг от мокрых каменных стен драконьей темницы, в роскошном кабинете эльфийской королевы — кипела совсем другая буря.

Каллерия бушевала. Время играла не ей на руку, до прихода её собственного палача оставались считанные часы, сутки истекали слишком быстро, а способ избежать незавидной участи, быть убитой, не как не хотел находиться.

Внешне это было почти незаметно. Она сидела в высоком кресле с резной спинкой, прямая, как клинок, и буравила взглядом своего советника-мага. Только длинные ногти — те самые, что час назад так лениво поправляли пепельные локоны, — теперь нервно постукивали по дубовой столешнице. Стол был белым — отбелённый дуб, редкий и дорогой, привезённый когда-то из северных лесов. И сейчас этот белый дуб мерно отзывался под её пальцами глухим, дробным звуком, похожим на стук далёкого дождя по крыше. Тук. Тук. Тук-тук-тук.

Эта высокомерная женщина впервые в жизни нервничала настолько сильно.

Ей казалось, что выбора нет. Совсем. Никакого. Она опустила взгляд на свои руки — тонкие, белые, с длинными ногтями, что сейчас выдавали её с головой, — и попыталась представить, как эти самые руки выкручивают на дыбе. Как эти запястья, такие хрупкие, ломаются под железом. Как эти пальцы, привыкшие к шёлку и хрусталу, кричат от боли под раскалёнными щипцами.

И она поняла — не выдержит. Не протянет ни в темнице, ни на допросе и двух дней.

О, она умела причинять боль. Сама. Своими руками — теми самыми, что сейчас лежали на белом дубе. Любила слышать крики. Любила хруст костей — особенно тонких, особенно пальцевых, особенно мужских. Смаковала чужую агонию, как иные смакуют выдержанное вино. Испытывала чуть ли не оргазм, когда видела мужские слёзы от боли — те самые, постыдные, что мужчины пытаются скрыть и не могут. Это было её удовольствие. Её тайна. Её страсть.

Но её собственное тело — это тело, выточенное из лунного камня, не знавшее за всю свою долгую жизнь ничего тяжелее туфельки на каблуке, — её тело к боли было непривычно. И она её боялась. По-настоящему, по-животному, до сухости во рту и холодного пота на спине. Боялась так, как бояться только те, кто слишком хорошо знает — что именно может сделать с человеком умелый палач.

— Кричер, чего ты мнёшься!

Голос её прозвучал резче, чем она хотела. Нервы явно сдавали — а это, в свою очередь, бесило её ещё сильнее, потому что Каллерия не любила, когда её тело предавало её даже в таких мелочах, как голос.

— Скажи прямо. Есть вариант выжить?

Старик не вздрогнул. Не дёрнулся. Он стоял у окна в свободной серой мантии, и поза его была спокойной — той особенной спокойной позой, что бывает у людей, давно переживших возраст волнения. Кричеру было лет под шестьдесят — для человека возраст почтенный. Тёмные волосы, схваченные сзади в небрежный хвост, были щедро тронуты сединой. Борода — короткая, аккуратная, ухоженная — тоже отливала серебром. Фигура его была чуть сгорблена, как у всех, кто слишком много лет провёл над книгами и колбами. Но глаза. Глаза у него были живыми. По-настоящему живыми — такими, словно принадлежали не старцу, а двадцатилетнему юноше, и юноша этот видел чуть больше, чем положено.

Его сухие руки не дрожали. Никогда. Он был из тех, кто всё продумывает заранее, кто играет в свою личную шахматную партию задолго до того, как противник делает первый ход, и кто к моменту разговора уже знает, чем партия закончится.

— Успокойтесь, госпожа.

Голос его был мягким, чуть надтреснутым, но в этой мягкости звенел металл уверенности.

— Есть возможность остаться в живых. Правда, ваше точёное тело вы потеряете. Но это малая жертва, согласитесь.

Он прошёл вглубь кабинета — медленно, не торопясь, как ходят люди, которые знают, что время сейчас работает на них. Подошёл к высокому, в человеческий рост, предмету, накрытому простым серым полотном. И сдёрнул простыню — одним коротким движением, словно фокусник, открывающий гостям главный трюк вечера.

Перед Каллерией предстало зеркало.

Старинное. Очень старинное. Рама его была отлита из тёмной бронзы, потемневшей от времени почти до черноты, и в этой бронзе кое-где были вправлены изумруды — мелкие, неогранённые, шероховатые, но живые. Они поблёскивали в свете волшебных ламп так, словно внутри каждого камня тлел крохотный зелёный уголёк.

А вот зеркало само по себе было странным. Очень странным. Оно было сделано из стекла — это было видно сразу, по чистоте поверхности, по тому, как ровно ложился на ней свет. Но оно ничего не отражало. Совсем ничего. Перед ним стояла Калерия — а в стекле не было ни её платья, ни её волос, ни её золотых глаз. Стекло было запотевшим. Молочно-серым. Словно за ним кто-то долго дышал — изнутри.

— Зеркало для обмена душ, — сказал Кричер негромко, и в его голосе впервые за всю беседу прозвучала почтительность — не к ней, а к зеркалу. — Одно из уцелевших. Считалось, что все были уничтожены. Но как видите.

Калерия медленно поднялась. Подошла ближе. И почувствовала — от зеркала тянуло холодом. Не тем приятным прохладным холодком, что приходит с весенним сквозняком, а другим — глубоким, неживым, тем, что идёт из дыры в земле, где когда-то что-то умерло.

— Мы можем поменять вашу душу на чужую, — продолжил Кричер так же ровно. — Вы отсидитесь в одном из чужих миров.

— И как это мне поможет?

Она пока не понимала, к чему клонит старец. Поменять душу на чужую — ну хорошо, она исчезнет здесь. Но ведь её тело останется. Её тело допросят. Её тело казнят. Какой ей в этом прок, если она будет смотреть на собственную казнь чьими-то чужими глазами?

— Я меняю души местами, — терпеливо объяснил Кричер, словно учитель, обращающийся к не слишком смыслённой ученице, — но делаю это с особым изяществом. В ваше тело я помещу душу простого человека — обычного, слабого, не знавшего магии. Душа эта быстро сдастся под пытками. Она признается во всём, в чём её попросят признаться. Признается и в убийстве принца, и в чём угодно ещё. Ваше тело — с этой чужой, слабой душой внутри — отведут на эшафот. И казнят. Публично, при свидетелях. Все увидят, как умирает принцесса Калерия. Все будут спокойны.

Он сделал паузу — короткую, выверенную.

— А вас — с вашей душой, в том человеческом теле, в которое вы переселитесь, — я в нужный момент перенесу обратно сюда. Особым ритуалом. По заранее проложенному каналу. Душа эльфа у вас сохранится — она ведь привязана не к ушам, а к самой сути. Просто ушей у вас не будет. И, скажем так, изящества прежнего, может быть, не будет тоже. Но почти бес-

смертие — останется. Магия — останется. Память — останется. Всё, что делает вас вами, — останется при вас. Только тело поменяется. Всё лучше, чем самой подниматься на эшафот, согласитесь. А с нуля построить новую жизнь, нажить деньги, добыть положение — это вам, госпожа, с вашими способностями труда не составит. Сами знаете.

Он замолчал. И в наступившей тишине было слышно только, как тихо потрескивают свечи в канделябре да как капля воска срывается с одной из них и беззвучно падает на серебряный поднос.

Каллерия молчала долго. Думала.

— Хитро придумано, — наконец произнесла она, и в её голосе мелькнуло что-то похожее на уважение — то, что она испытывала к нему так редко, что он сам уже успел забыть, каков этот её тон. — Может сработать.

Она брезгливо поморщилась, глядя на молочную поверхность зеркала.

— Но людские тела такие некрасивые. Лишённые изящества. Грубые. Толстые в ненужных местах, тощие там, где должно быть полно. Кожа у них как у поросят — розовая, в пятнах, с волосами не там, где надо. — Она передёрнула плечами, как от озноба. — Бр-р. Мерзость какая.

— Госпожа, — мягко напомнил Кричер, — выбор у вас невелик. Вам ли не знать, что подменить вас кем-то из нашего мира нельзя, такая магия доступна лишь высшим некромантам, но таковых не осталось. В конце концов, это единственный ваш шаг сбегать так что бы не кто не чего не понял, след вашей магии я оставляю, не кто не заподозрит подмены.

— Я знаю. — Она вздохнула — едва слышно, почти беззвучно. И в этом вздохе впервые за весь вечер прозвучало что-то живое. Усталость, может быть. — Делай. Выбора нет. В конце концов, потом — магией, если что — тело можно будет изменить. Чуть-чуть подправить, поджать, вытянуть, отбелить. Заново привыкнуть к зеркалу.

Она замолчала и вдруг — совершенно неожиданно для самого Кричера — фыркнула. Коротко, презрительно, как фыркает кошка, которой подсунули несвежее молоко.

— Идти на эшафот за случайное убийство младшего принца драконов я не собираюсь. Подумаешь, передушила. Со всеми бывает. Это убийство по неосторожности, не более того. Он сам просил сильнее. Сам, лично, своим собственным языком, который у него ещё умел шевелиться. Так что пусть теперь там, в своих драконьих чертогах, объясняет предкам, как именно он догадался попросить эльфийскую королеву придушить его покрепче. Уверена, рассказ выйдет занятный.

Она встала. Плавно, без единого лишнего движения, как встают только те, кому с самого рождения вдалбливали в спину прямую осанку.

И подошла к зеркалу.

Эта женщина не раскаивалась. Ни капли. Ни на волосок. Ни на тот неуловимый зазор, что бывает между двумя соприкоснувшимися лезвиями. Она словно была непошибаема —

лишённая эмпатии, чувства вины и всех тех светлых, мягких, неудобных качеств, что делают человека человеком, а не оружием. У неё внутри было что-то другое. Что-то другое — но не это.

Калерия остановилась в шаге от зеркала. Подняла руку — медленно, словно сама удивлялась тому, что делает, — и прикоснулась кончиками пальцев к молочно-серой поверхности.

Стекло оказалось не холодным. Тёплым. Тёплым, как живая кожа.

Она вздрогнула — впервые за весь этот вечер по-настоящему вздрогнула — и отдёрнула руку.

— Оно дышит, — произнесла она тихо, и в её голосе впервые проскользнуло что-то похожее на изумление. Не страх — нет, страха она себе никогда не позволяла, — но изумление. То самое детское, давно забытое, что бывает у людей, столкнувшихся с чем-то, что не вмещается в их картину мира.

— Оно живое, госпожа, — отозвался Кричер так же тихо, и в его голосе была почти нежность — та странная нежность, с которой старые маги говорят о вещах гораздо более древних, чем они сами. — Зеркала для обмена душ всегда были живыми. Иначе они не работали бы. Стекло — это просто оболочка. Внутри — нечто иное. Что именно — никто никогда не знал. Те, кто пытались узнать, как правило не возвращались.

— Утешил, — буркнула Каллерия, и в этом «буркнула» снова мелькнуло то самое живое, человеческое, что она так старательно прятала. — Особенно к ночи.

— Я лишь предупреждаю.

Она повернулась к нему. Золотые глаза сузились.

— Кричер. Если ты меня сейчас обманешь — если что-то пойдёт не так, если я застряну в каком-нибудь грязном попрошайке на окраине чужого мира, если меня не получится вернуть, — я найду способ. Слышишь? Найду способ выбраться. И первое, что я сделаю, — это вернусь сюда. И ты пожалеешь, что родился. Очень долго будешь жалеть. У меня будет много времени, чтобы научить тебя жалеть как следует.

Старик медленно склонил голову. И в этом поклоне не было ни страха, ни лести — была привычка. Привычка кланяться той, кому привык кланяться полжизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.